

Габриэль
Гарсиа Маркес



Нобелевская
премия

Генерал в своем
лабиринте

[роман]



Габриэль Гарсиа Маркес

Генерал в своем лабиринте

«АСТ»

1989

Маркес Г.

Генерал в своем лабиринте / Г. Маркес — «АСТ», 1989

ISBN 978-5-17-072256-3

Симон Боливар. Освободитель, величайший из героев войны за независимость, человек-легенда. Властитель, добровольно отказавшийся от власти. Совсем недавно он командовал армиями и повелевал народами и вдруг – отставка... Последние месяцы жизни Боливара – период, о котором историкам почти ничего не известно. Однако под пером величайшего мастера магического реализма легенда превращается в истину, а истина – в миф. Факты – лишь обрамление для истинного сюжета книги. А вполне реальное «последнее путешествие» престарелого Боливара по реке становится странствием из мира живых в мир послесмертный, – странствием по дороге воспоминаний, где генералу предстоит в последний раз свести счета со всеми, кого он любил или ненавидел в этой жизни...

ISBN 978-5-17-072256-3

© Маркес Г., 1989

© АСТ, 1989

Габриэль Гарсиа Маркес

Генерал в своем лабиринте

Альваро Мутису, который подарил мне идею этой книги

*Словно бы злой дух направляет мою жизнь.
Из письма Боливара Сантандеру от 4 августа 1823 года*

Хосе Паласиос, самый старый из его слуг, увидел, как он, обнаженный, с широко открытыми глазами, лежит в целебных водах ванны, и подумал, что он утонул. Хосе Паласиос знал, что это был один из многочисленных способов предаваться медитации, однако то состояние экстаза, в котором генерал лежал на поверхности воды, напоминало состояние человека, уже не принадлежавшего к этому миру. Он не осмелился подойти ближе, а только негромко позвал его, выполняя приказ разбудить генерала около пяти, чтобы отправиться в путь с первыми лучами солнца. Генерал стряхнул с себя оцепенение и увидел в полумраке прозрачные голубые глаза, взъерошенные выющиеся волосы беличьего цвета и величавую стать своего бессменного мажордома, который держал в руках чашку макового настоя с древесной смолой. Генерал бес- сильно обхватил края ванны и высунулся из лечебных вод, оттолкнувшись вдруг, будто дельфин, с неожиданным для его слабого тела напором.

– Мы уезжаем, – сказал он. – И поспешим, ибо никто нас здесь не любит.

Хосе Паласиос столько раз слышал эти слова при таких разных обстоятельствах, что даже и не воспринял их как приказ, хотя кони наготове стояли в конюшнях, а приближенные уже собирались в дорогу. Он помог ему вытереться и набросил на голое тело вигоневое пончо, потому что чашка в руках генерала дрожала – так его лихорадило. Несколько месяцев назад, натягивая замшевые брюки, которые он не надевал со времен роскошных вечеров в Лиме, генерал заметил, что не только похудел, но и стал ниже ростом. Даже его нагота была другой, потому что тело стало бледным, а лицо и руки бронзовыми от неласковых ветров. В прошлом году, в июле, ему исполнилось сорок шесть, но жесткие волосы, выющиеся, как у всех жителей Карибского побережья, стали пепельными, кости постоянно ныли от преждевременной старости, и он выглядел таким изможденным, что казалось, ему не дожить до следующего июля. Однако его решительные движения принадлежали будто кому-то другому, менее траченному жизнью, – он без устали кружил по комнате. На ходу в несколько глотков выпил настой, такой обжигающий, что едва не вздулись волдыри на языке, при этом старательно обходил темные пятна воды, капавшей с чашки на потертую циновку, покрывавшую пол, и было похоже, будто он пьет воскрешающий напиток. Он не произнес ни слова, пока часы на башне соседнего собора не пробили пять.

– Суббота, восьмое мая тридцатого года, день, когда англичане схватили Жанну д'Арк, – возвестил мажордом. – С трех часов ночи идет дождь.

– С трех часов ночи шестнадцатого века, – сказал генерал глухим от бессонницы голосом. И задумчиво добавил: – Я не слышал петухов.

– Здесь нет петухов, – сказал Хосе Паласиос.

– Здесь ничего нет, – сказал генерал. – Это земля неверных.

Они находились в Санта-Фе-де-Богота, на высоте две тысячи шестьсот метров над уровнем далекого моря, и огромная спальня с иссушенными стенами, подставленная ледяным ветрам, дующим в плохо пригнанные окна, не способствовала укреплению здоровья кого бы то ни было. Хосе Паласиос поставил бритвенный тазик с мыльной пеной на мраморную доску ночного столика, рядом со шкатулкой красного бархата с принадлежностями для бритья из позолоченного металла. Переставил подсвечник со свечой на консоль около зеркала, чтобы генералу было достаточно светло, и подвинул жаровню, чтобы согреть ему ноги. Затем дал ему очки

с квадратными стеклами в тонкой серебряной оправе, которые всегда носил для него в кармане жилета. Генерал надел их и побрился, ловко орудуя как правой, так и левой рукой, потому что с рождения владел одинаково хорошо обеими руками, и это было удивительно для человека, который несколько минут назад с трудом держал чашку. Он закончил бритье на ощупь, продолжая ходить по комнате, поскольку старался смотреть в зеркало как можно меньше, дабы не встретиться глазами с самим собой. Потом выщипал волосы в носу и ушах, почистил великолепные зубы угольным порошком, орудуя щеткой из шелкового волокна с серебряной ручкой, подстриг и отполировал ногти на руках и ногах и, наконец, снял пончо и вылил на себя большой флакон одеколona, пошлепывая ладонями по всему телу до полной истомы. В те предрассветные часы он служил свою ежедневную мессу чистоте более истово и яростно, чем всегда, пытаясь очистить тело и дух от двадцати лет бесполезных войн и горького опыта властвования.

Последней, кто нанес ему визит прошлой ночью, была Мануэла Саенс, опытная воительница из Кито, которая хоть и любила его, но на смерть за ним не пошла бы. Как обычно, она явилась проинформировать генерала о том, что произошло за время его отсутствия, ибо достаточно давно он не верил никому, кроме нее. Ей он отдал на хранение свои не слишком дорогостоящие реликвии, вроде нескольких ценных книг и двух чемоданов личных архивов. Накануне, когда они коротко и сухо прощались, он сказал ей: «Я очень люблю тебя и буду любить еще сильнее, если сейчас ты проявишь еще больше благоразумия, чем всегда». Она выслушала это, как и все прочие слова, которые ей приходилось слышать на протяжении восьми лет пламенной любви. Из всех, кто его знал, она была единственной, кто верил: на этот раз он действительно уходит. И она же была единственным человеком, у кого по крайней мере была веская причина надеяться, что он вернется.

Они не собирались еще раз увидеться перед отъездом. Но донья Амалия, хозяйка дома, подарила им это скоротечное последнее свидание и велела войти Мануэле, одетой для верховой езды, через калитку скотного двора, посмеиваясь над предрассудками добропорядочного местного общества. Не потому, что они были тайными любовниками – они ни от кого не тайлись, чем уже вызвали общественное возмущение, – просто донья Амалия изо всех сил берегла доброе имя своего дома. Он и сам осторожничал не меньше и потому велел Хосе Паласиосу, чтобы тот не закрывал дверь в соседнюю комнату, через которую обязательно должна была проходить прислуга и где гвардейцы охраны играли в карты еще долгое время после того, как кончился визит.

Мануэла читала ему целых два часа. Она была молодой еще совсем недавно, как вдруг ее тело начало опережать возраст. Она курила флотские самокрутки и душилась вербеновой водой, которой пользовались военные, носила мужское платье и жила среди солдат, но ее хрипловатый голос еще вполне годился для любовных сумерек. Она читала при скудном свете свечи, сидя в кресле, хранившем воинственный герб последнего вице-короля, а он слушал, вытянувшись на кровати лицом вверх, одетый не по-военному, ибо был дома, укрытый вигоневым пончо. Только по его дыханию можно было определить, что он не спит. Книга называлась «Слухи и сплетни, ходившие в Лиме в изысканном 1826 году», перуанца Ное Кальсадильяса, и она читала ее с театральным пафосом, который так удачно соответствовал стилю автора.

Весь последующий час в спящем доме не слышалось ничего, кроме ее голоса. Но вдруг после ночной проверки постов послышался громкий смех нескольких мужчин, который переполошил сторожевых собак. Он открыл глаза, скорее заинтересованный, чем обеспокоенный, и она опустила книгу на колени, заложив страницу пальцем.

– Это твои друзья, – сказала она ему.

– У меня нет друзей, – ответил он. – А если какие и остались, то ненадолго.

– Но они там, на улице, охраняют тебя, чтобы тебя не убили, – сказала она.

И генерал узнал о том, о чем уже знал весь город: на него и раньше несколько раз покушались, и его сторонники охраняли дом, чтобы помешать следующим попыткам. Передняя

и коридоры вокруг внутреннего садика охранялись гусарами и гренадерами-венесуэльцами, которые дойдут вместе с ним до порта Картахена-де-Индиас, где он должен будет погрузиться на какое-нибудь парусное судно, направляющееся в Европу. Двое из них разложили походную постель прямо поперек главного входа в спальню, а двое продолжали играть в карты в соседней комнате, даже когда Мануэла перестала читать, однако времена были такие, что ни в чем нельзя было быть уверенным среди воюющих людей непонятного происхождения и с самыми разными характерами. Нимало не встревоженный плохими вестями, он движением руки велел Мануэле продолжать чтение.

Он всегда относился к смерти как к неизбежному профессиональному риску. Во всех своих войнах он постоянно подвергался опасности, но не получил ни царапины и действовал под перекрестным огнем с таким немислимым спокойствием, что даже его офицерам пришлось согласиться с простым объяснением: что он, видимо, неуязвим. Он остался невредимым после многочисленных попыток убить его, а несколько раз ему спасало жизнь то, что он не ночевал в своей кровати. Он ходил без охраны, ел и пил без всякой осторожности, что бы и откуда ему ни было предложено. И только Мануэла знала, что его безразличие – не бездумность или фатализм, а грустная уверенность в том, что он умрет в своей постели, нагой и сирый, ни от кого не слыша благодарности и утешения.

Единственным заметным изменением в ритуале бессонных ночей было то, что вечером накануне выступления он не принял горячую ванну перед сном. Хосе Паласиос приготовил ее заблаговременно, с лечебными травами, чтобы восстановить его силы и смягчить кашель, и поддерживал нужную температуру на тот случай, если генерал вдруг захочет принять ванну. Но он не захотел. Проглотил две слабительные пилюли от своего обычного запора и приготовился подремать под убаюкивающий рассказ о галантных приключениях в Лиме. Вдруг, без всякой видимой причины, у него случился приступ кашля, от которого, казалось, до основания сотрясся дом. Офицеры, игравшие в карты в комнате по соседству, прервали игру. Один из них, ирландец Белфорд Хинтон Вильсон, просунул голову в спальню, будто его кто-то позвал, и увидел генерала, лежащего поперек кровати вниз лицом, – у него выворачивало внутренности. Мануэла держала его голову над тазиком. Хосе Паласиос, единственный, у кого было право входить в спальню без стука, ни на секунду не покинул свой пост у изголовья кровати, пока не прошел приступ. Но вот генерал, на глазах которого выступили слезы, глубоко вздохнул и показал на ночной столик.

– Все из-за этих похоронных роз, – сказал он.

Так было всегда, ибо всегда находился неожиданный виновник его несчастий. Мануэла, которая знала его лучше всех, сделала Хосе Паласиосу знак, чтобы он унес вазу с увядшими туберозами, поставленными утром. Генерал снова вытянулся на постели, закрыв глаза, и она возобновила чтение в той же манере. И только когда ей показалось, что он уснул, она положила книгу на ночной столик, поцеловала его в горячий лоб и прошептала Хосе Паласиосу, что с шести утра будет ждать его, чтобы увидеться в последний раз, в местечке под названием Куатро Эскинас, там, где начинается королевская дорога на Онду. Потом закуталась в простую деревенскую накидку и на цыпочках вышла из спальни. Тогда генерал открыл глаза и сказал слабым голосом Хосе Паласиосу:

– Скажи Вильсону, чтобы проводил ее до дома. Приказ был выполнен вопреки воле Мануэлы, которая считала, что сама способна постоять за себя лучше, чем это сделает отряд улан. Хосе Паласиос прошел с ней до скотного двора, освещая дорогу через внутренний садик с каменным фонтанчиком посередине, вокруг которого начинали распускаться первые утренние туберозы. Дождь перестал, и деревья больше не стонали от ветра, но на заледенелом небе не было ни единой звезды. Полковник Белфорд Вильсон шел по коридору, повторяя пароль часовым, сидевшим на циновках. Проходя мимо окна главной комнаты, Хосе Паласиос увидел

хозяина дома, который угощал кофе нескольких своих друзей, гражданских и военных, собиравшихся бодрствовать до начала отъезда.

Когда он вернулся в спальню, то услышал голос генерала – тот бредил. Несколько бессвязных фраз, смысл которых соединился в одну: «Никто ничего не понимает». Генерал метался в горячечном жару и испускал тяжелые зловонные газы. Сам он не знал на следующее утро, говорил ли он во сне или бредил наяву, он ничего не помнил. Он называл это: «Мои приступы безумия». Они уже никого не пугали, поскольку он страдал ими вот уже четыре года, и ни один врач не брал на себя смелость найти этому хоть какое-нибудь научное объяснение, а на следующий день генерал возрождался из пепла и был полностью в здравом уме. Хосе Паласиос укрыл его одеялом, оставил зажженную свечу на мраморном столике и вышел из комнаты, неплотно прикрыв дверь, чтобы сторожить его сон из соседней комнаты. Он знал, что генерал может прийти в себя в любую минуту, когда наступит рассвет, и окунется в стылую воду ванны, чтобы восстановить силы, растраченные на ужасы ночных кошмаров.

И вот каков был финал одного из трудных дней походной военной жизни. Гарнизон из семисот восьмидесяти девяти гусаров и гренадеров восстал под предлогом того, что им не выплачивали жалованье уже три месяца. Истинная причина была в другом: большинство из них были венесуэльцы, и многие участвовали в освободительных войнах четырех народов, но в последние недели они столько раз подверглись оскорблениям и провокациям на улицах города, что у них были все основания бояться за свою судьбу после того, как генерал покинет страну. Конфликт был улажен с помощью оплаты соборований и выплаты тысячи песо золотом вместо семидесяти тысяч, которых требовали восставшие, и в сумерках эти последние потянулись на родную землю, а вместе с ними толпа женщин, увешанных пожитками, с детьми и домашней скотиной. Грохот военных барабанов и медных труб не мог заглушить крики толпы, которая науськивала на них собак и бросала гирлянды шутих, чтобы сбить им шаг, – так не поступали даже с вражеской армией. Одиннадцать лет назад, когда закончилось долгое трехвековое испанское владычество, свирепый вице-король дон Хуан Самано удирал по этим самым улицам, переодевшись странником, но увозя с собой баулы, набитые золотыми идолами и необработанными изумрудами, священными туканами и витражами со сверкающими бабочками из Мусо, и не было ни одного человека, который бы оплакивал его с балкона, или кинул бы ему цветок, или пожелал бы ему спокойного моря и счастливого пути.

Генерал тайно участвовал в улаживании конфликта, не выходя из дома, который он арендовал и который принадлежал министру армии и флота, и в конце концов послал с мятежным войском генерала Хосе Лауренсио Сильву, своего преданного политического последователя и помощника, которому очень доверял, послал как залог того, что до самой границы с Венесуэлой не будет никаких беспорядков. Он не видел с балкона, как уходило войско, но слышал звуки рожков, барабанную дробь и шум толпы, собравшейся на улице, – выкрики до него не долетали. Он настолько не придавал этому значения, что даже не оторвался от просматривания, вместе с писцами, запоздавшей корреспонденции и продиктовал письмо Великому Маршалу дону Андресу де Санта Крус, президенту Боливии, в котором сообщал, что удаляется на покой и оставляет власть, однако не выразил твердой уверенности, что его поход распространится за пределы страны. «В жизни не напишу больше ни одного письма», – сказал он, закончив его. Позднее, в лихорадочном поту сиесты, ему удалось уснуть под отдаленные крики толпы, а разбудили его шквальные разрывы петард, которые могли запускать как восставшие, так и местные пороховщики. На его вопрос ему ответили, что это праздник. Именно так и не иначе: «Это праздник, генерал». Но никто, даже Хосе Паласиос, не осмелился объяснить его причину.

Только когда ночью пришла Мануэла, он узнал от нее, что то были люди его политических противников, из партии демагогов, как он говорил, которые натравливали на него общины ремесленников при полном попустительстве всего общества. Была пятница, базарный день,

когда легко было устроить беспорядок на центральной площади. Дождь, еще более сильный, чем обычно, с громом и молнией, к ночи разогнал бунтовщиков. Но злое дело было сделано. Студенты колледжа Святого Бартоломё штурмом взяли служебные помещения главного управления юстиции с тем, чтобы насильно заставить судей устроить общественный суд над генералом, и искололи штыками и бросили с балкона его портрет в натуральную величину, написанный маслом одним ныне престарелым знаменосцем Освободительной армии. Толпы, пьяные от кукурузной водки, грабили лавки на улице Реаль и винные погребки на окраинах, которые не закрылись вовремя, и расстреливали на главной площади чучело генерала, сделанное из наволочек, набитых сеном, и не хватало только голубого мундира с золотыми пуговицами, чтобы его узнали все. Его обвиняли в том, что он скрытый зачинщик неповиновения военных, и в запоздалой попытке вернуть себе власть, которой конгресс лишил его единогласно после двенадцати лет бессменного правления. В том, что он хочет для себя пожизненного президентства, чтобы оставить после себя европейского наместника. В том, что он якобы замышляет поход за пределы страны, хотя на самом деле собирается дойти до границы с Венесуэлой, откуда рассчитывает повернуть назад и захватить власть, возглавив армию восставших. Стены домов были обклеены листовками – так называли оскорбительные пасквилы на него, – а его сторонники из наиболее заметных прятались по чужим домам, пока не улеглись страсти. Пресса, преданная генералу Франсиско де Паула Сантандеру, его главному врагу, распустила слух, что его непонятная болезнь, о которой так много говорят, и осточертевшие всем угрозы, что он уйдет в отставку, – не что иное, как политические игры, – чтобы все умоляли его не уходить. Тем же вечером, пока Мануэла Саенс рассказывала ему подробности бурного дня, солдаты временно исполняющего обязанности президента старательно стирали со стены дворца архиепископа надпись, сделанную углем: «Ни живой, ни мертвый». Генерал вздохнул.

– Плохи, должно быть, дела, – сказал он, – а у меня и того хуже, поскольку все это происходило в куадре отсюда, а меня убедили, что это праздник.

Правда заключалась в том, что даже самые близкие люди не верили, что он откажется от власти или от страны. Городок был слишком мал, а люди слишком мелочны и болтливы, чтобы не знать о тех двух ямах, в которые может провалиться его непонятное путешествие: первая – у него нет денег, чтобы добраться куда бы то ни было с таким многочисленным войском, и вторая – будучи президентом республики, он не может покинуть страну без разрешения правительства и даже не должен просить правительство об этом. Приказ складывать багаж, отданный им так четко, чтобы он был услышан всеми и каждым, не был окончательным доказательством его намерений даже для Хосе Паласиоса, потому что бывали случаи, когда дело доходило до того, что вывозили мебель и покидали дом, чтобы устроить видимость отъезда, и каждый раз это была очередная политическая игра. Военные помощники чувствовали, что за последний год в стране особенно ясно проявились признаки разочарования происходящим. Однако иной раз, причем в самый неожиданный день, случалось, что он просыпался обновленный духом и брался за дела еще более неистово, чем раньше. Хосе Паласиос, который всегда был свидетелем этих непредсказуемых перемен, объяснял их по-своему: «Что думает мой хозяин, знает только мой хозяин».

Его бесконечные отставки послужили темой для народных песенок, самая старая из них начиналась двусмысленной фразой, которую он произнес, когда принимал присягу президента: «Первый мой спокойный день будет последним днем моей власти». В последующие годы он столько раз подавал в отставку и при столь различных обстоятельствах, что каждый раз неизвестно было, когда же это случится наверняка. Самая шумевшая произошла двумя годами раньше, в ночь на 25 сентября, когда он остался невредимым после попытки покушения прямо у себя в спальне, в Доме правительства. Комиссия конгресса, посетившая его утром, после того как он несколько часов провел в одной рубашке под каким-то мостом, обнаружила его завернувшимся в шерстяное одеяло, отогревающим ноги в тазике с горячей водой и страдаю-

щим не столько от лихорадки, сколько от разочарования. Ему объявили, что попытка покушения расследоваться не будет, что никто не будет осужден и что конгресс, который предполагал собраться перед новым годом, соберется немедленно, чтобы выбрать другого президента республики.

– И после этого, – заключил он, – я покину Колумбию навсегда.

Однако расследование провели, виновных приговорили к тюремному заключению в кандалах, а четырнадцать человек были расстреляны на главной площади города. Конгресс, назначенный на 2 января, не собирался еще шестнадцать месяцев, и уже никто не заговаривал об отставке. Но не было в эти времена ни одного заезжего иностранца, ни одного случайного приятеля или друга, которому бы он не говорил: «Я уйду туда, где меня любят».

Распространившаяся весть о том, что он неизлечимо болен, тоже не служила таким уж весомым подтверждением его отставки. Все и так знали, что он болен. Особенно после того, как он вернулся с войны на юге, каждый, кто видел, как он проходит под аркой, увитой цветами, с удивлением осознал, что он вернулся только для того, чтобы умереть. Вместо Белого Голубя, его знаменитого коня, он ехал верхом на плешивой кобыле, покрытой попоной из рогожи, поседевший, с лицом, изборожденным морщинами раздумий и заблуждений, в грязном мундире с оторванным рукавом. Величие славы покинуло его облик. Во время печального ужина, который состоялся тем же вечером в Доме правительства, он сидел, погруженный в себя, и никто не знал почему – из-за превратностей политики или просто был рассеян, – однако, приветствуя одного из министров, он назвал его чужим именем.

Те приемы, которые он использовал в последние годы, были недостаточны, чтобы люди поверили, будто он уйдет, потому что вот уже шесть лет говорилось, что он умирает, а он все так же держал бразды правления в своих руках. Первую весть о его скорой кончине принес офицер британского морского флота, который случайно видел его в пустыне Пативилка, к северу от Лимы, в разгар освободительной войны на юге. Он видел, как его выбросили на улицу из убогой хижины, в которой он устроил свою генеральскую ставку, на нем был плащ из непромокаемой шерстяной ткани, голова повязана какой-то тряпкой, потому что он не выносил пронизывающего холода полуденного зимнего ада, и у него не было сил даже распугать куриц, которые продолжали спокойно клевать, бродя вокруг него. После тяжелого разговора, перемежавшегося вспышками безумия, он простился с посетителем с подлинным драматизмом.

– Идите и расскажите всем, что вы видели, как я умер, обделанный курами, на этой враждебной земле, – сказал он.

Говорили, что с ним от ртутного солнца пустыни случилась тифозная горячка. Потом говорили, что он в агонии в Гуаякиле, а позднее в Кито, что у него брюшной тиф, самым тревожным признаком которого является потеря интереса к жизни и полная успокоенность духа. Никто не знал, на каком научном фундаменте покоились эти новости, но он всегда отвергал медицинскую науку, ставил сам себе диагноз и сам себя лечил, основываясь на «Медицине в вашем духе» Доностьяера, французском справочнике домашних лечебных средств, который Хосе Паласиос всюду возил с собой как непререкаемый авторитет для излечения любых заболеваний тела и духа.

Во всяком случае, не было агонии более продолжительной, чем у него. Так что, пока все думали, будто он умирает в Пативилке, он в очередной раз пересек горные хребты Анд, одержал победу при Хунине и завершил освободительную борьбу всей испанской Америки окончательной победой при Аякучо, основал республику Боливию и еще успел побыть таким счастливым в Лиме, каким никогда не был ни до ни после, за все время упоения славой. Так что все многочисленные заявления, будто он наконец отказывается от власти и от страны, потому что серьезно болен, и разнообразные действия, которые должны были это подтвердить, – все это были не более чем показательные репетиции драмы, слишком очевидной, чтобы в нее поверили.

Через несколько дней после своего возвращения, когда закончился исполненный извещительности правительственный совет, он взял под руку маршала Антонио Хосе де Сукре. «Вы остаетесь со мной», – сказал он ему. Он провел Сукре в свой личный кабинет, где принимал немногих избранных, и почти принудил его сесть в свое генеральское кресло.

– Это место уже больше ваше, чем мое, – сказал он ему.

Великий Маршал, победивший при Аякучо, и его близкий друг хорошо знал подлинную ситуацию в стране, однако генерал тщательно проверил его, прежде чем прислушаться к его предложениям. Через несколько дней должен был состояться учредительный конгресс для выбора президента республики и принятия новой конституции, как запоздалой попытки по спасению голубой мечты объединить континент. Республика Перу, находившаяся во власти обветшалой аристократии, казалась безвозвратно потерянной. Генерал Андре де Санта Крус вел Боливию по собственному пути. Венесуэла, под руководством Хосе Антонио Паэса, только что заявила о своей автономии. Генерал Хуан Хосе Флорес, главный префект юга, соединил Гуаякиль с Кито, чтобы образовать независимую республику Эквадор. Республика Колумбия, первый зародыш огромной единой родины, была урезана до размеров старинного королевства Новая Гранада. Шестнадцать миллионов американцев, едва вкусивших свободы, оказались в подчинении у местных правителей.

– В результате, – заключил генерал, – все, что мы сделали руками, другие разрушают ударами сапога.

– Это насмешка судьбы, – сказал маршал Сукре. – Кажется, мы так глубоко посеяли семена независимости, что эти народы пытаются сейчас стать независимыми друг от друга.

Генерал живо отреагировал на это замечание.

– Не повторяйте мерзостей, которые распускают враги, – сказал он, – даже если они так же верны, как эта.

Маршал Сукре извинился. Это был умный, аккуратный, застенчивый и суеверный человек с кротким выражением лица, которое не могли изменить даже застарелые оспины. Генерал, который очень любил его, говорил, что тот пытается казаться робким, но таковым не является. Он геройски сражался при Пичинче, в Тумусле, на берегах Тарки и, едва достигнув двадцати девяти лет, командовал блестящим сражением при Аякучо, которое уничтожило последний испанский редут в Южной Америке. Но даже больше, чем за военные заслуги, после победы его ценили за доброе сердце и за качества государственного деятеля. На тот момент он отказался от всех своих чинов и не носил никаких знаков военного отличия, ходил в черном суконном пальто до самых щиколоток и с поднятым воротником, чтобы получше защититься от пронизывающих ветров с окрестных гор. Его единственная уступка интересам нации, и, как он настаивал, последняя, – участие в учредительном конгрессе в качестве депутата от Кито. Ему было тридцать пять лет, у него было железное здоровье, и он был безумно влюблен в донью Мариану Кареелен, маркизу де Соланда, красивую и резвую уроженку Кито, почти подростка, на которой женился благодаря своей власти два года назад и от которой у него была шестимесячная дочь.

Генерал не представлял себе никого более подходящего, кто бы мог унаследовать от него республику. Он знал, что тому не хватает пяти лет для достижения установленного возраста – конституционное ограничение, введенное генералом Рафаэлем Урданетой, чтобы закрыть ему ход. Однако генерал лично прилагал усилия, чтобы «поправить поправку».

– Соглашайтесь, – сказал он ему, – и я останусь генералиссимусом, буду кружить около правительства, как бык вокруг стада коров.

Он выглядел очень сдавшим, но его решимость убеждала. Однако с некоторых пор маршал знал, что кресло, в котором он сидит, никогда не будет принадлежать ему, маршалу. Незадолго до этого, когда генерал впервые заговорил с ним о возможности стать президентом, он сказал, что никогда не возьмет на себя управление нацией, так как государственная система

и направление, по которому она идет, становятся чем дальше, тем опасней. По его мнению, первое, что нужно сделать для того, чтобы расчистить путь, – отстранить от власти военных и внести предложение конгрессу, чтобы ни один генерал не мог стать президентом в ближайшие четыре года, возможно, с намерением не позволить Урданете стать президентом. Но самые серьезные противники этой поправки были и самыми сильными: как раз те самые генералы.

– Я слишком устал, чтобы идти без компаса, – сказал Сукре. – Кроме того, ваше превосходительство знает так же хорошо, как и я, что здесь нужен не президент, а усмиритель бунтов.

Присутствовать на конгрессе он, конечно, будет и даже не откажется от чести председательствовать на нем, если ему это будет предложено. Но не более. Четырнадцать лет войны научили его, что самая главная победа – это когда остаешься в живых. Президентство в Боливии, огромной новой стране, основанной и управляемой мудрой рукой, научило его тому, как переменчива власть. Он был достаточно умен и благороден, чтобы понимать всю беспомощность славы.

– Получается, что я отказываюсь, ваше превосходительство, – заключил он. 13 июня, в день святого Антония, он должен был быть в Кито с женой и дочерью, чтобы отпраздновать с ними день не только этих именин, но и всех тех, которые будут у него и в дальнейшем. Его решимость жить для них и только для них, наслаждаясь любовью, оставалась неизменной с последнего Рождества.

– Это все, что я прошу от жизни, – сказал он. Генерал был мертвенно бледен.

– Я думал, что меня уже ничто не сможет удивить, – сказал он. И посмотрел ему в глаза: – Это ваше последнее слово?

– Предпоследнее, – сказал Сукре. – Последнее – моя безмерная благодарность за оказанную мне вами милость, ваше превосходительство.

Генерал, прощаясь с несбыточной мечтой, похлопал его по колену.

– Хорошо, – сказал он. – Вы только что приняли за меня окончательное решение моей жизни.

Тем же вечером он составил текст своей отставки, мучаясь от действия рвотного, которое прописал ему случайно оказавшийся рядом врач, чтобы выпустить желчь. 20 января состоялся конституционный конгресс с его прощальным выступлением, в котором он назначал следующим президентом маршала Сукре как самого достойного из генералов. Выбор вызвал овацию у конгрессменов, но один из депутатов, сидевший рядом с Урданетой, сказал ему на ухо: «Он хочет сказать, что этот генерал достойнее вас». Слова генерала и реплика депутата вонзились в сердце генерала Рафаэля Урданеты двумя острыми ножами.

И это было понятно. Хотя Урданета не имел ни бесчисленных военных заслуг де Сукре, ни такого огромного обаяния, не было причины называть его менее достойным. Его спокойствие и уравновешенность всегда защищали самого генерала, верность и преданность ему были доказаны множество раз, и это был один из немногих на свете людей, которые не боялись высказывать ему в глаза правду, которую он боялся слышать. Осознав свою оплошность, генерал попытался исправить ошибку в напечатанных экземплярах, где его собственной рукой слова «достойнейший из генералов» были исправлены на «один из достойнейших». Но злоба в сердце Урданеты все равно осталась.

Через несколько дней, собравшись с друзьями-депутатами, Урданета обвинил генерала в том, что он, делая вид, будто уходит в отставку, тайно готовится к своему переизбранию. За три года до того генерал Хосе Антонио Паэс силой захватил власть в департаменте Венесуэлы в виде первой попытки отделиться от Колумбии. Генерал, бывший в то время в Каракасе, публично обнимался с Паэсом под ликующие крики толпы и перезвон колоколов и, что вышло из всяких границ, учредил для него особенный режим, при котором тот мог править как хотел. «Оттуда пошли все несчастья», – сказал Урданета. Такое благоволение не только окончательно испортило отношения с гранадцами, но и посеяло в них зерно сепаратизма. Сейчас,

заклучил Урданета, лучшее, что может сделать генерал для отечества, – подать в отставку, перестать наконец тешить свой порок властолюбия и уехать из страны. Генерал ответил с такой же горячностью. Однако Урданета был человек прямой, говорил страстно и убедительно, и у всех осталось впечатление, что перед ними – развалины некогда великой старинной дружбы.

Генерал повторил, что уходит в отставку, и назначил дона Доминго Кайседо временно исполняющим обязанности президента, пока конгресс не выберет нового. Первого марта он покинул Дом правительства через черный ход, чтобы не встречаться с приглашенными, которых его преемник угощал бокалом шампанского, и удалился в чужой карете в имение де Фуча, идиллический уголок в окрестностях города, которое временный президент предоставил в его распоряжение. Одна только мысль о том, что теперь он не более чем обычный горожанин, усиливала действие рвотного средства. Он велел Хосе Паласиосу, который за последнее время научился спать на ходу, принести ему все необходимое, чтобы он смог начать свои мемуары. Хосе Паласиос принес ему чернила и писчую бумагу в количестве, необходимом для записи воспоминаний за сорок лет, а генерал предупредил Фернандо, своего племянника и помощника, что тот станет помогать ему со следующего понедельника, с четырех часов утра – наиболее подходящее для него время, чтобы оживить былые обиды. Как он уже много раз говорил племяннику, он бы хотел начать с самого старого воспоминания, с того сна, который он видел на асьенде Сан-Матео, в Венесуэле, вскоре после того, как ему исполнилось три года. Ему приснилась черная ослица с золотой челюстью, которая вошла в дом и прошла его насквозь, от главной гостиной до кладовок, безостановочно пожирая на своем пути все, что ей попадалось, в то время как члены семьи и рабы предавались сиесте, и в конце концов она съела занавески, подушки, светильники, цветочные вазы, обеденную посуду и приборы, фигурки святых на алтарях, шкафы и комоды со всем, что в них было, кухонную утварь, двери и окна вместе с дверными петлями и задвижками и всю мебель от прихожей до спален, и единственное, что осталось нетронутым и парило в пространстве, – овальное зеркало с туалетного столика его матери.

Но ему было так хорошо в доме де Фуча, а воздух был так нежен под этим небом с быстрыми облачками, что он перестал говорить о мемуарах, а предрассветными часами подолгу бродил по тропинкам, пахнущим саванной. Те, кто навещал его в эти дни, находили, что он очень окреп. Особенно подчеркивали это военные, его самые верные друзья, – они жаждали продолжения его правления, хотя бы даже ценой военного переворота. Он разубедил их, приводя как аргумент, что насильственный захват власти недостоин его славы, но, кажется, не терял надежду снова заступить на пост в результате законного решения конгресса. А Хосе Паласиос повторял: «Что думает мой хозяин, знает только мой хозяин».

Мануэла так и жила в нескольких шагах от дворца Сан Карлос, который был президентским домом, прислушиваясь к тому, что говорят на улицах. Она появлялась в де Фуча два-три раза в неделю или чаще, если было что-то срочное, с коробками марципана, горой горячих монастырских булочек и шоколадными батончиками с корицей к четырехчасовому полднику. Газеты она привозила редко, поскольку генерал стал так чувствителен к критике, что любое самое обычное замечание выводило его из себя. Она обращала его внимание на политические новости, салонные интриги, предсказания провидцев, и, когда он слушал, его так и крутило, потому что слушать все это было неприятно, но она была единственным человеком, которому разрешалось говорить правду. Когда обо всем было переговорено, они просматривали корреспонденцию, или она читала ему, или они играли в карты с прислугой, но ели всегда только вдвоем.

Они познакомились в Кито, восемь лет назад, на праздничном балу в честь освобождения от Испании, когда она была еще супругой доктора Джеймса Торна, английского врача, вошедшего в аристократические салоны Лимы в последние годы вице-королевства. Кроме того, что это была последняя женщина, с которой он поддерживал продолжительную любовную связь

с тех пор, как двадцать семь лет назад умерла его жена, она была еще и доверенным лицом, хранительницей его архивов, самым выразительным чтецом и в его генеральном штабе была приравнена к чину полковника. Далеко ушли те времена, когда она готова была прокусить ему ухо в порыве ревности, но и поныне их самые обычные разговоры могли закончиться вспышками ненависти, а потом нежными любовными примирениями. Мануэла никогда не оставалась на ночь. Она всегда уходила засветло, чтобы ночь или сумерки не застигли ее в пути.

В противоположность тому, как это было на вилле Ла Магдалена в Лиме, где он вынужден был под разными предлогами держать ее вдали от себя, пока любезничал с дамами высокого происхождения и с теми, кто не были таковыми, в имении де Фуча он всячески показывал, что не может жить без нее. Он подолгу смотрел с террасы на дорогу, нетерпеливо ожидая, не едет ли она, ежесекундно спрашивал у Хосе Паласиоса, который час, и просил то передвинуть кресло, то разжечь камин, то загасить его, то опять разжечь, и пребывал в нетерпении и плохом настроении до тех пор, пока из-за холмов не показывалась карета и Мануэла не озаряла его жизнь своим появлением. Но такие же признаки нетерпения он выказывал, если визит затягивался долее обычного. В час сиесты они ложились в постель, не закрывая двери в спальню, и не раз пытались отдаться последней любви, – но тщетно, ибо его тело уже не было достаточно сильным для того, чтобы порадовать душу, и не слушалось его.

Изнурительная бессонница в те дни привела его жизнь в полнейший беспорядок. Он мог уснуть в любое время посередине фразы, или когда диктовал какое-нибудь письмо, или за игрой в карты, причем он сам не знал, были ли это молниеносные приступы сна или мимолетные обмороки, и так же неожиданно, как засыпал, он вдруг мог почувствовать необыкновенную ясность сознания. Едва ему удавалось погрузиться в вязкую предрассветную дрему, как его тут же будил тихий ветерок в листве деревьев. И тогда он не мог противиться искушению отложить писание мемуаров еще на один день и долго гулял в одиночестве, иногда до самого обеда.

Он ходил без охраны, с двумя верными собаками, которые в иные времена были с ним даже в сражениях, и у него не осталось уже ни одной из его знаменитых лошадей, которые были проданы батальону гусар, чтобы выручить денег на дорогу. Он уходил к реке, что текла неподалеку, ступал по ковру из гниющих листьев, слетевших с бесчисленных тополей, укрывшись от ледяного ветра саванны вигоневым пончо, в меховых сапогах и зеленой матерчатой шляпе, которую раньше надевал только когда спал. Он подолгу сидел, задумавшись, около мостика с прогнившими досками, в тени плакучих ив, замороженно глядя на течение реки, которое порой сравнивал с человеческой судьбой, как научил его когда-то делать учитель юности, дон Симон Родригес. Один из его охранников незаметно следовал за ним повсюду до самого его возвращения, когда он приходил, мокрый от росы, прерывисто дыша, и едва мог подняться по ступенькам крыльца, но, несмотря на бледность и крайнее изнурение, его взгляд излучал счастливое отрешение. Ему было хорошо во время этих прогулок, когда он уходил от всего, что его мучило, а невидимые телохранители слышали: он поет солдатские песни под шум листвы, как в годы легендарной славы и сокрушительных поражений. Те, кто знал его лучше, не понимали, чем вызвано это хорошее настроение, ведь даже Мануэла сомневалась в том, что его еще раз изберут президентом республики на учредительном конгрессе, на который только он один и уповал.

В день выборов, во время утренней прогулки, он увидел бездомную борзую, которая резвилась у изгороди, вспугивая перепелов. Он весело свистнул ей, и собака остановилась как вкопанная, стала искать его, насторожив уши, и нашла – он стоял в потертом плаще и шляпе, как у флорентийского епископа, рукою Провидения заброшенный сюда, где стремительно несутся тучи и идет непрестанный дождь. Она тщательно обнюхала его, а он гладил ее кончиками пальцев, но вдруг она отпрыгнула, посмотрела ему в глаза своими золотистыми глазами, подозрительно зарычала и в испуге убежала. Он пошел за ней по незнакомой прежде тропинке и ока-

зался, не имея представления, где он, в каком-то пригороде с грязными улочками и домиками из кирпича-сырца под красными крышами, где из патио шел запах парного молока. Вдруг он услышал крик:

– Эй ты, свинячья колбаса!

Он не успел увернуться от коровьей лепешки, которую бросили из какого-то хлева, и она ударила его в грудь, забрызгав лицо. Но не столько навоз, сколько выкрик вывел его из состояния спячки, в которой он пребывал с тех пор, как покинул президентский дом. Он знал прозвище, которым наградили его гранадцы, такое же, как у одного буяна с улицы, знаменитой своими маркитантками. Один сенатор из тех, кто именовал себя либералами, назвал его так даже на заседании конгресса, в его отсутствие, и только двое из конгрессменов высказали тому протест. Но ему никогда не говорили этого в лицо. Он стал вытирать лоб и щеки краем пончо и еще не успел вытереться, как из-за деревьев появился невидимый до тех пор охранник, обнажив шпагу, дабы наказать обидчика. Он гневно набросился на охранника:

– Какого черта вы здесь делаете?

Офицер стал по стойке «смирно».

– Выполняю приказ, ваше превосходительство.

– Никакое я не превосходительство, – отозвался он.

Офицеру оставалось только радоваться, что генерал, решительно отказавшийся от всех своих чинов и званий, не имеет власти, чтобы примерно наказать его. Даже Хосе Паласиосу, который так хорошо понимал генерала, было трудно понять его ярость.

Это был плохой день. Все утро он кружил по дому с такой же тоской, с какой ждал Мануэлу, но все понимали, что на этот раз он страдает не из-за нее, а из-за ожидания своей участи. Минута за минутой он пытался во всех подробностях представить себе, что происходит на заседании конгресса. Когда Хосе Паласиос заметил, что уже десять, он сказал: «Сколько бы ни раздавались ослиные крики демагогов, голосование уже должно было начаться». Он надолго задумался, а потом сказал вслух: «Кто может знать, что думает человек, подобный Урданете?» Хосе Паласиос был уверен, что генерал-то как раз это знает, потому что Урданета везде, где только мог, рассказывал о физической слабости генерала и о том, как он сдал в последнее время. Когда Хосе Паласиос в очередной раз проходил мимо него, он рассеянно спросил: «Как думаешь, за кого будет голосовать Сукре?» Хосе Паласиос знал так же хорошо, как и он, что маршал Сукре голосовать не будет, потому что в эти самые дни он путешествует по Венесуэле вместе с епископом Санта-Марты, монсеньором Хосе Мария Эстевесом, по поручению конгресса, чтобы договориться об условиях отделения Венесуэлы. Поэтому он тут же ответил: «Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, сеньор». Генерал улыбнулся, впервые с тех пор, как вернулся с тоскливой прогулки.

Несмотря на свой непредсказуемый аппетит, он почти всегда садился за стол около одиннадцати и съедал яйцо вкрутую с рюмкой портвейна или кусочек сыра, но в тот день он так и продолжал смотреть на дорогу с террасы, пока другие завтракали, и был настолько погружен в себя, что даже Хосе Паласиос не осмелился его побеспокоить. Когда пробило три, он подскочил на месте, различив издали цоканье копыт еще прежде, чем из-за холмов появилась коляска Мануэлы. Он выбежал ей навстречу, помог выйти, и стоило ему взглянуть ей в лицо, как он все понял – дон Хоакин Москера, основатель одного из известных родов Попайана, единогласно избран президентом республики.

Он не выказал ни гнева, ни разочарования, только удивление, поскольку сам предложил конгрессу кандидатуру дон Хоакина Москеры, будучи уверенным, что она не пройдет. Он погрузился в глубокую задумчивость и не произнес ни слова до тех пор, пока не настало время еды. «Ни одного голоса за меня?» – спросил он. Ни одного. Однако официальная делегация, которая посетила его позже, состоявшая из депутатов – его приверженцев, объяснила ему, что его сторонники сознательно пошли на единодушное голосование, чтобы он не выглядел про-

игравшим в предвыборной схватке. Он был так обижен, что, казалось, не оценил всей тонкости этого галантного маневра. Он, наоборот, думал, что было бы достойнее для его славы, если бы они приняли его отставку с первого раза, когда он о ней заявил.

– В конечном счете, – вздохнул он, – демагоги снова выиграли, и выиграли вдвойне.

Однако он тщательно следил за собой до самого прощания на крыльце, чтобы никто не заметил, как он потрясен. Но не успели коляски скрыться из виду, как у него начался приступ кашля, продержавший в напряжении и тревоге всех обитателей имения до позднего вечера. Один из официальных посланников сказал, что конгресс поступил так, чтобы спасти республику. Он, казалось, не обратил на эти слова внимания. Но ночью, когда Мануэла уговаривала его выпить чашку бульона, сказала: «Никакой конгресс никогда не спасет республику». Перед тем как лечь спать, он собрал своих помощников и слуг и объявил им с той же торжественностью, с какой обычно заявлял о своих отставках:

– Завтра я уезжаю из страны.

Но это произошло не на следующий день, а через четыре дня. Несколько восстановив утерянное душевное равновесие, он продиктовал прощальное обращение, в котором угадывалась душевная драма, и возвратился в город, чтобы сделать приготовления к отъезду. Генерал Педро Алькантара Эрран, министр обороны и флота в новом правительстве, предоставил ему свой дом на улице Ла Энсеньянса не столько из гостеприимства, сколько для того, чтобы защитить от угроз, которые раз от разу делались все более пугающими.

Перед тем как уехать из Санта-Фе, он продал то небольшое ценное, что у него было, ввиду предстоящих на дорогу затрат. Кроме лошадей, он купил серебряную посуду благословенных времен Потоси, которую Монетный Двор оценивал просто по весу металла, не учитывая ни ценности работы, ни исторических достоинств: две с половиной тысячи песо. Закончив расчеты, он оказался обладателем семнадцати тысяч шестисот песо и семидесяти сентаво, чека на восемь тысяч песо из общественной казны Картахены, пожизненной пенсии, назначенной ему конгрессом, и немногим больше шестисот унций золота, разложенного по разным сундукам. Таковы были жалкие остатки личного состояния его семьи, которая к моменту его рождения была одной из самых процветающих в обеих Америках.

Из личных вещей, которые утрус, в день отъезда, пока генерал одевался, неторопливо укладывал Хосе Паласиос, были взяты только две смены нижнего белья, сильно поношенного, две рубашки – одну снять, другую надеть, – военный мундир с двумя рядами пуговиц, которые, по преданию, были покрыты золотом Атауальпа, матерчатая шляпа, в которой он спал, и маленькая ярко-красная шапочка, которую маршал Сукре привез ему из Боливии. Из обуви – только домашние туфли и сапоги из лакированной кожи, которые были сейчас на нем. В личном сундучке Хосе Паласиоса вместе с дорожной аптечкой и разными мелкими ценностями лежали «Общественный договор» Руссо и «Военное искусство» итальянского генерала Раймундо Монтекуколи – две библиографические редкости, принадлежавшие Наполеону Бонапарту и подаренные ему сэром Робертом Вильсоном, отцом его адъютанта. Остальное смогло уместиться в солдатском ранце – так немного у него было вещей. Прежде чем пройти в комнату, где его ждали приближенные, он окинул все это взглядом и сказал:

– Никогда мы не думали, дорогой мой Хосе, что такая слава может уместиться в одном башмаке.

Однако семь мулов нагружены были сундуками с золотыми медалями, столовым серебром и другими ценными вещами, десятью баулами с его личными бумагами, двумя с прочитанными книгами и по крайней мере пятью с одеждой, а также разными коробками с нужными и ненужными вещами, сосчитать которые ни у кого не хватило бы терпения. Вместе с тем это было только жалкими остатками того, что он вез с собой, когда возвращался из Лимы три года назад, наделенный тройной властью президента Боливии и Колумбии и диктатора Перу: семьдесят два сундука и более четырехсот ящиков с бесчисленной поклажей, стоимость которой

ником не была оценена. Он оставил тогда в Кито более шестисот книг, которые никогда и не пытался вернуть себе.

Было около шести. Бесконечный дождь на минуту перестал, однако все равно было пасмурно и холодно, и дом, занятый солдатами, начал пахнуть казармой. Гусары и гренадеры вставали один за другим, завидя в глубине коридора генерала с адъютантами, – неверный свет зари бросал на него зеленоватый отблеск, он был в пончо, кое-как накинутом на плечи, и в широкополой шляпе, почти совсем закрывавшей лицо. Он прижимал к губам смоченный одеколоном платок – это, как издавна считают жители Анд, защищает в непогоду от бед, приносимых ветром. На нем не было никаких знаков военного отличия, и ничто не указывало на его безмерное могущество в былые времена, однако магический ореол власти выделял его среди шумной свиты офицеров. Он направился в зал для посетителей, неторопливо пройдя по устланному циновками коридору, окаймлявшему внутренний садик, не обращая внимания на солдат охраны, которые при его приближении отдавали ему честь. Перед тем как войти в комнату, он спрятал платок за отворот рукава, как это делают священники, и отдал свою шляпу одному из адъютантов.

Кроме тех военных, кто нес дежурство, в дом, как только стал заниматься рассвет, все приходили и приходили посетители, гражданские и военные. Они пили кофе, разделившись на группы, и их темные пышные одежды и приглушенные голоса придавали всему происходящему мрачноватую торжественность. Общий шепот перекрыл на мгновение резкий голос одного из дипломатов:

– Похоже на похороны.

Не успел дипломат договорить, как почувствовал запах одеколона, заполнивший комнату. Он обернулся, держа чашку дымящегося кофе большим и указательным пальцами, обеспокоенный тем, что призрак, который только что вошел, слышал его дерзость. Но нет: хотя последний раз генерал был в Европе двадцать четыре года назад, он все еще был молод, а добрые воспоминания о Европе были сильнее его недовольства. Так что этот дипломат стал первым, к кому он обратился с приветствием, причем с такой безмерной вежливостью, которой только англичане и заслуживают.

– Надеюсь, этой осенью в Гайд-парке не слишком туманно, – сказал он.

Дипломат на секунду заколебался, поскольку в последние дни слышал про три разных места, куда отправляется генерал, но Лондона среди них не было. Однако тут же ответил:

– Мы попытаемся сделать так, чтобы солнце светило и день и ночь для вашего превосходительства.

Нового президента не было, поскольку конгресс выбрал Москеру в его отсутствие и ему потребовалось еще более месяца, чтобы вернуться из Попайана. От его имени выступал генерал Доминго Кайседо, избранный вице-президентом, про которого говорили, что любая должность в государстве для него недостаточна, потому что осанка и высокомерие у него были как у короля. Генерал приветствовал его с величайшим безразличием и сказал, усмехаясь:

– А вы знаете, что у меня нет разрешения на выезд из страны?

Фраза была встречена всеобщим смехом, хотя все знали, что это не шутка. Генерал Кайседо пообещал выслать ему выправленный паспорт в Онду с ближайшей почтой.

Официальная свита состояла из архиепископа города, брата нового президента и других сеньоров и чиновников высшего ранга с супругами. Гражданские были в кожаных штанах для верховой езды, а военные в кавалерийских сапогах, поскольку предполагалось сопровождать знаменитого изгнанника несколько лиг. Генерал поцеловал перстень архиепископу и руки сеньорам, без лишних слов пожал руки мужчинам, как и положено непревзойденному мастеру светских церемоний, однако оставался совершенно чуждым лицемерному характеру этого города, о котором он не раз говорил: «Этот театр не для меня». Он приветствовал всех в том порядке, в котором следовал мимо них по комнате, и для каждого находил несколько

приятных слов, сказанных непринужденно, в соответствии со всеми правилами учтивости, но никому не смотрел в глаза. Голос его был твердым и немного хриплым от лихорадки, а его карибский акцент, который не могли смягчить ни долгие годы странствий, ни превратности войны, чувствовался еще сильнее рядом с типичным выговором жителей Анд.

После приветствий он принял от представителя президента лист бумаги, подписанный многими известными гранадцами, которые высказывали ему признательность от имени страны за то, что он так много лет руководил ею. Он сделал вид, что читает бумагу – наступило всеобщее молчание, – отдавая дань местным правилам приличия, но на самом деле он не видел без очков даже самые большие буквы. Тем не менее, сделав вид, что закончил чтение, он обратился к собравшимся с кратким словом благодарности в таком соответствии с написанным, что никто бы не мог сказать, будто он не читал этой бумаги. Потом он оглядел зал и спросил, не скрывая некоторого беспокойства:

– Урданета не пришел?

Представитель президента уведомил его, что генерал Рафаэль Урданета уехал к восставшим войскам, чтобы превратить предварительные меры генерала Хосе Лауренсио Сильва в более действенные. И тут послышался чей-то голос, перекрывший остальные:

– Сукре тоже не пришел.

Он не мог оставить незамеченным явное намерение сообщить ему эту непрошеную новость. Его глаза, до этого потухшие и угрюмые, лихорадочно заблестели, и он ответил неизвестно кому:

– Верховного маршала де Аякучо не ставили в известность о часе отъезда, чтобы не беспокоить его.

Казалось, он не знал, что маршал Сукре возвратился двумя днями раньше после провала своей миссии в Венесуэле, где его не пустили на его собственные земли. Никто не сказал Сукре, что генерал уезжает, возможно, потому, что никому не приходило в голову, будто он может об этом не знать. Хосе Паласиос вспомнил было об этом в какой-то неподходящий момент, а потом забыл в сутолоке последних часов. Разумеется, ему в голову приходила неприятная мысль о том, что маршал Сукре может почувствовать себя задетым, если его не предупредят об отъезде генерала.

В соседней комнате был сервирован праздничный завтрак по-креольски: свинина, нарезанная тонкими ломтями, кровяная колбаса с рисом и луком, яйца с тушеным мясом, множество сладких булочек на кружевных салфетках и котелки с дымящимся шоколадом, густым, будто ароматный клейстер. Хозяева дома не торопились с завтраком, надеясь, что он захочет председательствовать за столом, хотя знали, что по утрам он пьет только маковый настой с древесной смолой. В конце концов донья Амалия предложила генералу занять кресло, которое приготовила для него во главе стола, но он уклонился от этой чести и обратился ко всем с учливой улыбкой.

– Мой путь долг, – сказал он. – Приятного аппетита.

Он привстал на цыпочки, чтобы попрощаться с представителем президента, и тот ответил ему дружеским объятием, и тогда все увидели, каким маленьким был генерал, каким беззащитным и беспомощным казался он в момент прощания. Потом он снова пожал руки мужчинам и поцеловал руки дамам. Донья Амалия попыталась удержать его, чтобы он отказался от своих намерений, хотя знала так же хорошо, как и он: нельзя отказаться от того, что так давно должно было произойти. И потом, желание отправиться в путь как можно скорее было так заметно, что попытка задержать его казалась невежливой. Хозяин дома проводил его через сад до конюшен под моросившим невидимым дождем. Он попытался помочь генералу, осторожно поддерживая под локоть кончиками пальцев, будто он был стеклянный, и был удивлен мощной силой, которую почувствовал в нем и которая жила, словно скрытый источник, не имеющий никакого отношения к телесной немощи. Посланцы правительства, дипломаты и военные, по

щиколотку в грязи, в мокрых от дождя плащах, ждали, чтобы проводить его в поход. Однако ни один с точностью не сказал бы, кто из них делает это из дружеских чувств, кто – чтобы защитить его, а кто – чтобы удостовериться в факте его отъезда.

Мул, который ждал его, был лучшим в табуне из сотни голов – испанский торговец обменял его на обещание правительства закрыть следствие по его делу о скотокрадстве. Генерал уже занес ногу в стремя, которое подставил ему конюх, как тут министр обороны и флота позвал его: «Ваше превосходительство». Тот застыл на месте, не вынимая ногу из стремени и держась за луку седла.

– Останьтесь, – сказал ему министр, – пойдите на последнюю жертву, чтобы спасти отечество.

– Нет, Эрран, – ответил он, – у меня больше нет отечества, ради которого следовало бы приносить жертвы.

Это был конец. Генерал Симон Хосе Антонио де ла Сантиссима Тринидад Боливар вместе с Хосе Паласиосом уезжал навсегда. Он уничтожил испанское владычество в империи, в пять раз превосходящей размерами всю Европу, двадцать лет командовал военными действиями, чтобы Америка была свободной и единой, и правил ею твердой рукой вплоть до прошлой недели, но в минуту прощания даже не мог утешить себя мыслью, что этому будут верить. Единственное, что было более или менее ясно, – он действительно уезжает, а куда – об этом один английский дипломат написал в официальном докладе своему правительству: «Времени, которое ему осталось, едва-едва хватит на то, чтобы добраться до могилы».

* * *

Первый день пути был самым неприятным, и не только для такого больного человека, как он, – ему тяжелее всего было перенести скрытую враждебность, которую он ощущал на улицах Санта-Фе утром в день отъезда. Дождь ненадолго перестал, стало чуть светлее, но на своем пути он встречал только отбившихся от стада коров, а в воздухе витала ненависть его врагов. Хотя по распоряжению правительства его везли по наименее людным улицам, генерал увидел написанные на стенах монастырей проклятия в свой адрес.

Хосе Паласиос ехал верхом рядом с ним, одетый как обычно, так, как он одевался даже в дни сражений: сюртук, шелковый галстук, заколотый булавкой с топазом, перчатки из выделанной кожи козленка, парчовый жилет с цепочками крест-накрест от двух пар часов. Сбруя его лошади была украшена серебром Потоси, а стремяна были золотые, из-за чего его много раз в горных селениях Анд путали с президентом. Впрочем, предупредительность, с которой он старался угодить своему хозяину, исполняя его малейшие желания, исключала возможность какой бы то ни было ошибки. Он так знал и любил его, что переживал как свое собственное это прощальное бегство из города, для которого одна только весть о его прибытии некогда служила поводом для национального празднества. Не прошло и трех лет, как генерал вернулся с трудной войны на юге, овеванный такой славой, какой не устаивался ни один американец, ни живой ни мертвый, и ему был устроен грандиознейший прием, какой только знала наша эпоха. Это были времена, когда люди хватались за уздечку его коня и останавливали его на улице, чтобы пожаловаться на чиновников или на судебные подати, или просили его о милости, а то и просто грелись в лучах его величия. Он относился к этим уличным мольбам с таким же вниманием, как к самым важным правительственным вопросам, поражая всех знанием домашних проблем любого или вопросами, как идут торговые дела и не пошаливает ли здоровье, и у каждого, поговорившего с ним, оставалось впечатление, что он на миг разделил с ним сладость власти.

Никто бы не поверил сейчас, что это тот самый человек, который был тогда, и что этот замкнувшийся город, который он навсегда покидает, принимая меры предосторожности, словно беглый преступник, – все тот же город. Нигде он не чувствовал себя таким чужим, как

на этих застывших улочках с одинаковыми домиками под темными крышами и уютными садиками с благоухающими цветами на улочках, где на медленном огне варилось то, что называется отношениями деревенской общины, где нарочитая вежливость и нормативный испанский язык служили для того, чтобы как можно больше скрыть, чем сказать. И тем не менее, хотя сейчас это казалось ему насмешливой игрой воображения, это был тот же самый город, окутанный туманом и овеваемый ледяным ветром, город, который он выбрал еще до того, как узнал его, чтобы здесь вкусить плоды своей славы, город, который он любил больше, чем все остальные города, и который казался ему центром и смыслом его жизни и столицей половины мира.

Когда настал момент подвести последние итоги, казалось, он сам более всех удивлен утратой доверия к нему. Правительство расставило боевые посты даже в тех местах, где вовсе не было опасно, и поэтому ему не попались на пути злобно настроенные люди, которые оскорбили его в лицо накануне вечером, но на всем пути слышался ему тот же самый далекий крик: «Свинячья колбаса!» Единственная душа, сострадающая ему, – женщина, встретившаяся на улице и сказавшая вслед:

– Ступай с Богом, призрак.

Все сделали вид, что не слышали ее. Генерал погрузился в мрачную задумчивость; он ехал, чуждый всему, до тех пор, пока они не достигли сверкающей саванны. В местечке Куатро-Эскинас, где начинается мощеная дорога, Мануэла Саенс ждала верхом и в одиночестве, когда проедет эскорт, и издалека помахала генералу рукой на прощание. Он ответил ей и продолжал путь. Больше они никогда не виделись.

Немного позже дождь прекратился, небо снова засверкало синевой, и два заснеженных вулкана неподвижно возвышались на горизонте весь остаток пути в этот день. Но в этот раз он ничем не выразил свою радость от близости к природе, не глядел на поселки, которые они торопливо проезжали, не обращал внимания на людей, которые махали ему на прощание, не зная, кто он. Одним словом, самым необычным для его спутников было то, что блестящая кавалькада не удостоилась ни одного дружеского взгляда в многочисленных обиталищах саванны, а ведь столько раз говорили, что, мол, это всегда было для их жителей любимым зрелищем на свете.

В селении Факататива, где они провели первую ночь, генерал распрощался со своими случайными спутниками и продолжал путешествие с постоянной свитой. Их было пятеро, кроме Хосе Паласиоса: генерал Хосе Мария Карреньо, без правой руки, потерянной в сражении; его адъютант-ирландец, полковник Белфорд Хинтон Вильсон, сын сэра Роберта Вильсона, генерала, ветерана почти всех войн в Европе; Фернандо, его племянник, адъютант и секретарь, в чине лейтенанта, сын его старшего брата, погибшего во время кораблекрушения в годы первой республики; его родственник и адъютант, капитан Андрее Ибарра, с перебитой ударом сабли два года назад, во время штурма 25 сентября, правой рукой, и полковник Хосе де ла Крус Паредес, испытанный им в многочисленных кампаниях войны за независимость. Почетный гарнизон состоял из сотни гусаров и гренадеров, отобранных среди лучших солдат-венесуэльцев.

На попечении Хосе Паласиоса были еще две собаки, которые достались им как военная добыча в Альто-Перу. Это были красивые и смелые животные, служившие ночными сторожами, – они охраняли Дом правительства в Санта-Фе с того момента, когда в ночь покушения на его жизнь были зарезаны двое его товарищей. В нескончаемых переездах из Лимы в Кито, из Кито в Санта-Фе, из Санта-Фе в Каракас, и снова в Кито и Гуаякиль эти две собаки охраняли груз его каравана. В последнем переходе из Санта-Фе в Картахену они делали то же самое, хотя груз был не такой большой, как обычно, и к тому же охранялся солдатами.

Рассвет генерал встретил в плохом настроении в местечке Факататива, но настроение стало улучшаться по мере того, как они спускались с плато по тропинке, выходящей по склону холма, и воздух теплел, а свет становился менее ярким. Много раз обеспокоенные его состоянием спутники предлагали ему отдохнуть, но он предпочитал продолжать путь до теплых

земель, даже не останавливаясь, чтобы поесть. Он говорил, что вечером хорошо думается, и ехал без остановок много дней и ночей, часто меняя лошадей, чтобы не загнать их. У него были кривые ноги, как у всех, кто всю жизнь провел в седле, и походка человека, привыкшего спать сидя, а на заду образовалась грубая мозоль, похожая на кожаный ремень цирюльника, так что он вполне оправдывал почетное прозвище Железная Задница. С тех пор как началась Война за независимость, он проехал верхом восемнадцать тысяч лиг: два раза с лишним обогнул земной шар. Никто бы не смог опровергнуть рассказы о том, что он и спит в седле.

После полудня стало чувствоваться теплое дыхание, поднимавшееся из расщелин, и тогда они сделали привал в каком-то монастыре. Их приняла сама настоятельница, а несколько послушниц-индианок обнесли их свежее испеченными марципановыми булочками и лепешками из комковатого, замешанного на кукурузной муке чуть забродившего теста. Увидев отряд солдат, потных и одетых без всяких знаков военного отличия, настоятельница сначала приняла за старшего из офицеров полковника Вильсона, возможно потому, что он был стройным и белокурым, а мундир его был украшен богаче других, и потому она занималась им одним, отличая его от других очень по-женски, что вызвало лукавые замечания.

Хосе Паласиос не упустил возможности для своего господина отдохнуть в тени монастырской сейбы и укрыл его шерстяным одеялом, чтобы он пропотел и его перестало лихорадить. И так он лежал там, без еды и без сна, слушая сквозь дрему креольские любовные песни, которые пели послушницы, а старшая монахиня аккомпанировала им на арфе. После чего одна из них обошла всех с тарелочкой для жертвований на нужды миссии. Монахиня, игравшая на арфе, сказала ей: «У больного не проси». Но послушница не обратила на это внимания. Генерал, даже не глядя на нее, сказал с горькой улыбкой: «Я и сам готов просить милостыню, дитя мое». Вильсон отдал часть своих личных денег, и с такой щедростью, что заслужил дружескую шутку своего командира: «Вот теперь видите, сколько стоит слава, полковник?!» Позднее даже Вильсон выказывал удивление, что никто в миссии – и дальше, на всем пути – не узнавал человека, который был самым знаменитым в новых республиках. И для самого генерала это тоже было необычным.

– Я уже не я, – сказал он.

Следующую ночь они провели на старинной табачной фактории недалеко от селения Гуадуас, превращенной в постоялый двор для путников, которые ждали там их прибытия, чтобы воздать ему должную славу, а это ему было невыносимо. Дом был огромный и сумрачный, и само место навевало необъяснимую печаль из-за неумной растительности и темно-бурой реки, которая, с грохотом рассыпаясь брызгами, обрывалась у банановых плантаций на жарких землях. Генерал знал эти места и в первый раз, когда оказался здесь, сказал: «Если бы я хотел устроить кому-нибудь коварную ловушку, я выбрал бы это место». Он всегда старался обходить стороной это место, хотя бы потому, что оно напоминало Берруэкос, злоеущий горный массив по дороге из Кито, которого старались избегать даже самые отважные путешественники. Однажды он расположился лагерем в двух лигах отсюда, несмотря на возражения всех остальных, – это место нагоняло такую тоску, что невозможно было вынести. На этот раз, несмотря на усталость и лихорадку, здесь ему было лучше, чем в Гуадуасе, где пришлось бы выносить поток соболезнований своих случайных друзей, ждавших его на постоялом дворе.

Видя его в таком плачевном состоянии, хозяин постоялого двора послал за индейцем, жившим неподалеку, которому достаточно было понюхать потную одежду больного, чтобы исцелить его, независимо оттого, как далеко этот человек находился, – ему не обязательно было видеть его. Генерал посмеялся над доверчивостью хозяина и запретил всем, кто был с ним, вступать в какие бы то ни было контакты с индейцем-чудотворцем. Если он не верил во врачей, про которых говорил, что они наживаются на чужой боли, то еще меньше можно было ожидать, что он вверит свою судьбу какому-то захолустному спириту. И, чтобы доказать свое презрение к врачевателям и медицине, он пренебрег удобной спальней, которую приготовили

для него, видя, как ему плохо, и повесил гамак на широкой открытой галерее, из-за ночного тумана рискуя еще больше своим здоровьем.

Он ничего не ел весь день, только утром выпил травяной настой, а если садился за стол, так только из учтивости к своим офицерам. Впрочем, он лучше других умел принаравливаться к суровостям походной жизни, будучи аскетом в отношении еды и питья; однако он любил и знал искусство приготовления вин и пищи, как утонченный европеец, и с первого своего путешествия по Европе перенял у французов привычку во время еды говорить о еде.

В тот вечер он выпил только полбокала красного вина и попробовал из любопытства жаркое из оленины, дабы убедиться, что хозяин и его офицеры говорят правду: мясо тает во рту и имеет привкус жасмина. За ужином он говорил мало и с не большим воодушевлением, чем те немногие слова, которые произнес за время путешествия, но все оценили его усилия подсластить малой толикой хороших манер горечь поражения в делах и тяготы болезней. Он не сказал ни слова о политике и не вспомнил ни об одной из тех неприятностей, какие случились в субботу, а ведь это был человек, который не мог пересилить в себе отвращение и досаду к чему-то неприятному, даже если случилось это несколько лет назад.

Еще до конца ужина он, извинившись, поднялся, надел длинную рубашку и ночной колпак и, дрожа от озноба, укрылся в гамаке. Ночь была прохладной, и между холмами показалась огромная оранжевая луна, но у него не было желания смотреть на нее. Солдаты охраны, которые находились в нескольких шагах от него и пели хором народные песни, замолчали. Согласно его давнему приказу они всегда располагались на ночлег рядом с его спальней, как легионеры Юлия Цезаря, чтобы он из ночных разговоров знал об их настроении, и на рассвете часто можно было увидеть: он распевает вместе с солдатами казарменные песенки с фривольными или шутливыми куплетами, сочиненными тут же, среди общего веселья. Но в тот вечер пение раздражало его, и он приказал им замолчать. Река грохотала среди скал, и ее вечный шум, вдобавок к лихорадке, сводил его с ума.

– Проклятие! – воскликнул он. – Если бы можно было остановить ее хоть на минуту!

Но нет: никому не дано остановить течение реки. Хосе Паласиос хотел дать ему какое-нибудь успокаивающее из своей аптечки, но он отказался. Это было в первый раз, когда Хосе услышал от генерала слова, которые тот однажды уже говорил: «Я отказался от ошибочно выписанного рвотного, но я не собираюсь отказываться заодно и от жизни». Несколько лет назад, когда другой врач прописал ему настой мышьяка и он чуть не умер, потому что у него началась дизентерия, он сказал то же самое. С тех пор единственное лекарство, к которому он прибегал, были слабительные пилюли, их он принимал несколько раз в неделю от непрерывных запоров, или клизма из александрийского листа, когда дела были совсем плохи.

Вскоре после полуночи уставший от его бреда Хосе Паласиос вытянулся на голом полу и уснул. Когда проснулся, генерала в гамаке не было, а на полу валялась ночная рубашка, мокрая от пота. В этом не было ничего странного. У генерала была привычка вставать с постели и до света бродить, когда он был в доме один, обнаженным, отвлекая себя от бессонницы. Но в эту ночь оснований беспокоиться за его жизнь было больше, чем когда-либо, потому что день ему предстоял тяжелый, а холодный и влажный воздух вовсе не располагал к прогулкам в непогоду. Хосе Паласиос поискал его с одеялом в руках по дому, освещенному зеленоватым светом луны, и нашел спящим на скамье в коридоре, – он был похож на статую, лежащую на гробнице. Генерал посмотрел на него ясным взглядом, в котором не было и тени лихорадки.

– Это было так же, как в ночь святого Иоанна де Пайара, – сказал он. – Только, к несчастью, без Королевы Марии Луисы.

Хосе Паласиос знал, о чем он говорит. Дело было в 1820-м, январской ночью, в венесуэльском селении, затерянном среди горных плато Апуре, куда генерал прибыл с двумя тысячами солдат. Он уже освободил от испанского владычества восемнадцать провинций. Из территорий старинного вице-королевства Новая Гранада, округа Венесуэлы и представительства в

Кито он создал республику Колумбию и был одновременно и ее президентом, и генерал-аншефом ее войск. Его последней мечтой было дойти с боями до юга, чтобы воплотить в жизнь фантастический сон о создании самой большой нации в мире: единая свободная страна от Мехико до Кабо де Орнос.

Однако военная ситуация в ту ночь не располагала к мечтам. Скоротечная чума поразила животных прямо в пути, и в Льяно, на протяжении четырнадцати лиг, они оставляли за собой зачумленный след из мертвых лошадей. Многие офицеры, деморализованные случившимся, утешались тем, что грабили жителей, и находили удовольствие в неподчинении генералу, а иные даже посмеивались над его угрозами расстрелять виновных. Две тысячи солдат, оборванных, разутых, без оружия и еды, без одеял, чтобы укрыться от холода и дождя, уставшие от войны, а многие и больные, дезертировали из его армии. Не найдя лучшего решения, он отдал приказ награждать десятью песо патрули, которым удастся задержать и привести обратно своего товарища-дезертира, и расстрелять последнего, не вникая в причины.

Жизнь уже дала ему достаточно оснований полагать, что никакое поражение никогда не бывает последним. Не прошло и двух лет, как он, затерянный со своими солдатами неподалеку от этих мест, среди сельвы на берегах Ориноко, вынужден был приказать есть лошадей из боязни, что солдаты начнут есть друг друга. В ту пору он был похож, как рассказывал один из офицеров Британского легиона, на бродягу-партизана – так странен был его вид: он носил головной убор русских драгун, альпарагаты погонщика мулов, голубой мундир с красными петлицами и позолоченными пуговицами; у него был черный пиратский флаг, прикрепленный к шесту погонщика, с черепом и костями и надписью кроваво-красными буквами: «Свобода или смерть».

В ночь святого Иоанна де Пайара его наряд уже почти не напоминал наряд бродяги, но его положение было не лучшим. И не только потому, что оно отражало состояние армии на тот момент, но и потому, что это была общая драма Освободительной армии – армии, которая возрождалась и росла после еще худших поражений, зато оказалась на грани полной гибели под тяжестью стольких побед. И напротив, испанский генерал дон Пабло Морильо, прекрасно оснащенный всем необходимым для поддержания и реставрации колониального режима, еще владел значительными территориями на западе Венесуэлы и располагал серьезными силами в горах.

Вот в такой ситуации генерал и боролся с бессонницей, разгуливая обнаженным по пустынным комнатам старого дома, причудливо освещенного лунным светом. Большинство лошадей, сдохших накануне, были сожжены вдали от дома, но запах разложения был невыносим. После тяжелого дневного перехода всей этой недели солдаты уже не пели песен, а у него не хватило духу наказать часовых, которые заснули от голода. И вдруг в глубине открытой галереи, которая выходила на широкую голубую долину, он увидел Королеву Марию Луису: она сидела на возвышении, сложенном из кирпичей, поставленных ребром. Красавица-мулатка в расцвете юности, с божественным профилем, укутанная с ног до головы в шаль, затканную цветами, курила сигару. Мария Луиса испугалась и, вытянув руку, осенила его крестом.

– Во имя Бога или дьявола, – сказала она, – что ты хочешь?

– Тебя, – сказал он.

Он улыбнулся, и она увидела, как сверкнули его зубы в свете луны. Он крепко обнял ее, так что она не могла пошевелиться, и стал осыпать нежными поцелуями ее лоб, глаза, щеки, шею, пока она не стала послушной. Тогда он сбросил с нее шаль, и у него перехватило дух. Она была обнаженной, как и он, потому что бабушка, которая спала с ней в комнате, забирала у нее одежду, чтобы она не вставала ночью курить, и не знала, что на рассвете она заворачивается в шаль и все равно выходит покурить. Генерал перенес ее в гамак, продолжая сладко целовать, и она отдалась ему не потому, что в ней проснулось желание или любовь, а из страха. Она была девственницей. Когда сердце ее снова застучало ровно, она сказала:

– Я – рабыня, сеньор.

– Уже нет, – ответил он. – Любовь сделала тебя свободной.

Утром он выкупил ее у хозяина асьенды за сто песо из своих небогатых запасов и отпустил на свободу без всяких условий. Перед тем как уйти, он не устоял перед искушением предложить ей выбор. Он был в патио вместе с несколькими офицерами, оседлавшими всю имеющуюся домашнюю скотину, пригодную для верховой езды, – лучше сказать, с людьми, пережившими собственную смерть. Остальная часть войска собралась проститься с ними и перейти под командование дивизионного генерала Хосе Антонио Паэса, который прибыл накануне.

Генерал выступил с кратким прощальным обращением, в котором несколько смягчил драматизм ситуации, и уже собирался отправиться в путь, как вдруг увидел Королеву Марию Луису в недавно обретенном состоянии свободной и хорошо устроенной женщины. Она только что приняла ванну и была прекрасна, сверкая под небом Льяно крахмальной белизны нижних юбок, отделанных кружевами, и скромной блузкой рабыни. Он проникновенно спросил ее:

– Ты остаешься или пойдешь с нами?

Она ответила ему с чарующей улыбкой:

– Я остаюсь, сеньор.

Ответ был встречен единодушным хохотом. Тогда хозяин дома, испанец, с первого часа борьбы за независимость его сторонник и друг, улыбаясь, встряхнул кожаный кошелек с сотней песо и подобрал его. Генерал поймал его на лету.

– Сохраните их для дела, ваше превосходительство, – сказал ему хозяин. – В любом случае девушка на свободе.

Генерал Хосе Антонио Паэс, чья внешность фавна удивительно подходила к его разноцветным лохмотьям, весело рассмеялся.

– Вот видите, генерал, – сказал он. – Стоит стать Освободителем, и тотчас случится что-либо подобное.

Он согласился с Паэсом и попрощался со всеми широким жестом руки. С Королевой Марией Луисой он простился с достоинством проигравшего и никогда после этого ничего не слышал о ней. Все это вспомнил Хосе Паласиос, никогда до этого не вспоминавший о той ночи полнолуния, пока генерал не сказал ему: все было как тогда, только не было, к несчастью, божественного появления Королевы Марии Луисы. И тогда и сейчас была ночь поражения.

В пять утра, когда Хосе Паласиос принес ему утреннее питье, то увидел: генерал лежит с открытыми глазами. Вдруг он приподнялся так резко, что едва не упал, и сильно закашлялся. Он сидел в гамаке и кашлял, обхватив голову руками, пока не прошел приступ. Потом стал пить обжигающе горячее зелье, и настроение у него поднималось с каждым глотком.

– Всю ночь мне снился Кассандр, – сказал он.

Так он называл гранадского генерала Франсиско де Паула Сантандера, своего большого друга в давние годы и противника во все остальные времена, начальника генерального штаба своей армии с начала войны и представителя президента в Колумбии во время тяжелейших кампаний по освобождению Кито и Перу и основанию Боливии. Скорее в силу исторической необходимости, чем по призванию, он был толковым и храбрым воином, до странного склонным к жестокости, но его гражданские добродетели и блестящее академическое образование способствовали его славе. Без сомнения, это был второй человек в борьбе за независимость и первый в установлении законодательства в республике, человек, который навсегда остался верен букве закона и традициям.

Однажды, после многочисленных попыток объявить о своей отставке, генерал сказал Сантандеру, что уходит спокойным за свое представительство, ибо «я оставляю страну вам, потому что вы – второй я, и, может быть, лучший». Ни одному человеку, в силу ли фактов или благодаря собственному уму, он так не доверял. Он пожаловал ему титул: Человек Закона.

Однако тот, кто заслужил все это, вот уже два года как был выслан в Париж за участие, ничем не подтвержденное, в одном из заговоров с целью убить генерала.

Вот как это было. В 1828 году, 25 сентября, в среду, около полуночи, двенадцать гражданских и двадцать шесть военных ворвались в Дом правительства в Санта-Фе, убили двух собак из тех, что охраняли президента, ранили нескольких часовых, тяжело ранили ударом сабли в предплечье капитана Андреса Ибарру, убили шотландского полковника Вильяма Фергюссона, члена Британского легиона и адъютанта президента, о котором последний говорил, что он храбр, словно Цезарь, и поднялись по лестнице с криками: «Да здравствует свобода, и смерть тирану».

Мятежники приговорили его к смерти за чрезвычайную склонность к диктаторству, которую генерал продемонстрировал три месяца назад, воспрепятствовав победе сторонников Сантандера на Учредительном собрании в Оканье – Сантандер, который был в течение семи лет вице-президентом республики, был низложен. Сантандер сообщил об этом своему другу одной фразой, типично в его стиле: «Я имел удовольствие быть погребенным под обломками конституции 1821 года». Ему было тогда тридцать шесть лет. Он был назначен полноправным представителем страны в Вашингтоне, но несколько раз откладывал отъезд, возможно, рассчитывая на то, что заговор удастся.

Генерал и Мануэла Саенс едва успели помириться и пробыть вместе лишь одну ночь. Конец недели они провели в селении Соача, в двух с половиной лигах от того места, и вернулись в понедельник в разных колясках после любовных разногласий, более глубоких, чем обычно, ибо он был глух к предупреждениям о том, что его хотят убить, о чем говорили все и во что не верил только он один. Она не отвечала на его многочисленные послания, которые он отправлял из дворца Сан Карлос, напротив ее дома, до того самого вечера, до девяти часов, когда она, получив три особенно настойчивые записки, надела поверх домашних туфель непромокаемые башмаки, закуталась в шаль и пошла под дождем через улицу. Она обнаружила его плавающим лицом кверху в благоухающих водах ванны, без Хосе Паласиоса, и не приняла его за мертвеца потому лишь, что много раз видела, как он предается размышлениям в этом приятном состоянии. Он узнал ее по шагам и заговорил, не открывая глаз.

– Назревает бунт, – сказал он.

Ее ирония не могла скрыть раздражение.

– В добрый час, – ответила она. – Они еще успеют до десяти, ведь вы так внимательны к предупреждениям.

– Я верю только в предзнаменования, – сказал он.

Подобная игра была уже позволительна, поскольку начальник его генерального штаба, открывший заговорщикам ночной пароль, чтобы они могли беспрепятственно пройти во дворец, дал ему слово, что заговор провалится. Так что он вышел из ванной в веселом расположении духа.

– Не тревожься, – сказал он, – этим сволочам подрежут крылышки.

Они начали резвиться в постели, он обнаженный, она полураздетая, когда услышали первые крики, первые выстрелы и грохот пушек, стрелявших по казарме преданных ему частей. Мануэла быстро помогла ему одеться, надела на его ноги непромокаемые башмаки, в которых пришла сама, потому что единственную пару сапог генерал отдал чистить, и помогла ему спуститься через балкон с саблей и пистолетом, правда, без всякого прикрытия от дождя. Не успел он оказаться на улице, как взял на прицел чью-то тень, которая приближалась к нему: «Стой! Кто идет?» То был его вестовой, который возвращался в дом, встревоженный новостью, что его хозяина убили. Решив разделить с генералом его участь до конца, он прятался вместе с ним в зарослях близ моста Кармен через ручей Святого Августина, до тех пор пока не зазвучали залпы пушек верных ему войск.

Мануэла Саенс, которая при подобных обстоятельствах всегда проявляла хитрость и смелость, вышла навстречу атакующим, ворвавшимся в спальню. Они спросили ее о президенте, и она ответила, что он в зале заседаний. Ее спросили, почему в зимнюю ночь открыта дверь на балкон, и она ответила, что открыла ее посмотреть, что там за шум на улице. Ее спросили, почему постель еще теплая, и она ответила, что спала, не раздеваясь, в ожидании президента. Она тянула время, запутывала их своими ответами и курила плохие извозчиьи папиросы, чтобы уничтожить запах одеколона, который еще чувствовался в комнате.

Военный суд под председательством генерала Рафаэля Урданеты установил, что генерал Сантандер был тайным руководителем заговора, и приговорил его к смерти. Его враги говорили, что этот приговор более чем заслужен им, не столько за участие в заговоре, сколько за цинизм, когда он первым появился на главной площади, чтобы сердечно обнять президента. Последний сидел верхом на лошади, мокрый от дождя, без рубашки, в рваном и грязном мундире, приветствуемый овациями солдат и крестьян, которые бросились сюда в дождь из ближних пригородов, требуя предать убийц смерти. «Все участники получили разную меру наказания, – написал генерал маршалу Сукре. – Сантандер – главный из них, но наиболее счастливый, потому что его хранит мое великодушие». В самом деле, своей абсолютной властью он заменил смертную казнь на ссылку в Париж. И наоборот, без достаточных доказательств был расстрелян адмирал Хосе Пруденсио Падилья, который сидел в тюрьме в Санта-Фе за несостоявшийся мятеж в Картахена-де-Индиас.

Хосе Паласиос никогда, когда дело касалось генерала Сантандера, не знал, где правда, а где сон, который приснился его хозяину. Однажды в Гуаякиле тот рассказал, что видел во сне открытую книгу, лежащую на толстом брюхе, но вместо того, чтобы читать ее, стал отрывать страницы одну за другой и поедать их, смачно пережевывая и чавкая как козел. В другой раз, в Кукуте, он видел себя сплошь покрытого тараканами. Однажды в Санта-Фе, на деревенской усадьбе в Монтсеррате, он проснулся с криком, потому что ему приснилось, будто генерал Сантандер, с которым он вместе завтракал, вынул глаза, так как они мешали ему есть, и положил их на стол. Так что, когда на рассвете близ Гуадуаса генерал сказал, что видел во сне Сантандера, Хосе Паласиос даже не спросил его о содержании сна, а просто попытался успокоить, вернув к действительности.

– Между ним и нами ровно половина всех морей, – сказал он.

Но генерал остановил его, бросив на него быстрый взгляд.

– Уже нет, – ответил он. – Уверен, этот трус Хоакин Москера позволит ему вернуться.

Эта мысль мучила его со дня последнего возвращения в страну, когда отказ от власти стал для него вопросом чести. «Я предпочитаю ссылку или смерть такому бесчестью, как оставить мою славу в руках колледжа Святого Бартоломе», – сказал он Хосе Паласиосу. Однако противоядие само по себе содержало яд, ибо по мере приближения к окончательному решению в нем росла уверенность, что сразу после его отъезда будет вызван из ссылки генерал Сантандер, который из всей этой своры крючкотворов был в самом высоком чине.

– Он-то и есть самый отъявленный мошенник, – сказал генерал.

Лихорадка прошла окончательно, и он почувствовал такой подъем духа, что попросил у Хосе Паласиоса перо и бумагу, надел очки и собственной рукой написал письмо Мануэле Саенс из шести строчек. Это показалось странным даже Хосе Паласиосу, привыкшему к его неожиданным поступкам, и он расценил это как предзнаменование или как приступ неудержимого вдохновения. Это не только противоречило его решению, высказанному в прошлую пятницу, никогда в жизни больше не писать ни одного письма, но и шло вразрез с привычкой будить писцов в любое время суток, чтобы закончить отложенное письмо, или продиктовать им какое-нибудь воззвание, или помочь привести в порядок свои мысли, перепутанные в часы бессонницы. Еще более странным было то, что письмо не было вызвано крайней необходимостью, – ко всему, что он сказал ей на прощание, была добавлена только одна фраза, похожая

на зашифрованную: «Береги себя; если не сбережешь, то, потеряв себя, потеряешь нас обоих». Он написал ее, как обычно, повинаясь порыву, не обдумывая этого заранее, и наконец лег в гамак и стал раскачиваться, задумчиво глядя на письмо, которое держал в руке.

– Огромную власть имеет над нами непреодолимая сила любви, – вдруг произнес он. – Кто это сказал?

– Никто, – ответил Хосе Паласиос.

Он не умел ни читать, ни писать и не хотел учиться, приводя тот простой аргумент, что ума у него не больше, чем у осла. Однако он мог запомнить любую фразу, которую когда-либо случайно слышал, но этой не помнил.

– В таком случае это сказал я, – ответил генерал, – но мы будем считать, что это сказал генерал Сукре.

Ни с кем не было ему так хорошо в трудные времена, как с племянником Фернандо. Он был самым услужливым и терпеливым из всех писарей генерала, хотя, может быть, не самым блестящим, зато он стоически переносил произвол в распорядке дня и раздражение от бессонницы. Генерал будил его, когда вздумается, чтобы тот почитал ему какую-нибудь скучную книгу или сделал неожиданные и непременно срочные заметки, которые на следующий день выкидывались в мусорное ведро. Детей у генерала не было, несмотря на бесчисленные ночи любви (впрочем, он говорил, что не бесплоден и что у него есть тому доказательства), и после смерти своего брата он стал заботиться о Фернандо. Генерал отправил его с рекомендательными письмами в Военную академию в Джорджтауне, где генерал Лафайет высказал ему слова уважения и восхищения его дядей. Потом Фернандо учился в колледже Джефферсона, в Шарлоттвилле, а затем в Виргинском университете. Преемником, о котором мог бы мечтать генерал, он не стал, потому что Фернандо надоели академические науки и он с удовольствием поменял их на свежий воздух и уютное искусство садовода. Генерал вызвал его в Санта-Фе, как только закончилось его обучение, и, тотчас обнаружив в нем изрядные способности, назначил его писцом не только за его каллиграфический почерк и прекрасное владение разговорным и письменным английским, но и потому, что тот был единственным, кто мог использовать лист бумаги так, что читатель следил за написанным с неослабевающим интересом; и кроме того, когда он читал вслух, то добавлял от себя всякие смелые пассажи, чтобы расцветить скучные куски. Как у всех, служивших генералу, у него была своя несчастная минута, когда он приписал Цицерону фразу Демосфена, а генерал потом в докладе это процитировал. Генерал поступил с ним суровее, чем поступил бы с другими, но простил его раньше, чем окончилось наказание.

Генерал Хоакин Посада Гутьерес, губернатор провинции, заранее посылал гонцов в те места, где он собирался ночевать, чтобы за два дня они могли предупредить о его приезде и сообщить властям о тяжелом физическом состоянии генерала. Но те, кто видел его, когда он прибыл в Гуадуас в понедельник вечером, говорили, повторяя устойчивые слухи, что тревожные вести от губернатора и само путешествие – не более чем политическая интрига.

Генерал был непобедим, в который уже раз. Он въехал в Гуадуас по главной улице, наперекор всему, с цыганской повязкой на голове, чтобы пот не стекал по лицу; он приветственно махал шляпой, а вокруг слышались крики, взрывы петард и звон церковных колоколов, перекрывавший военную музыку, а он сидел верхом на муле, который трусил рысцей, что не давало никакой возможности сохранить хоть какую-нибудь торжественность, приличествующую параду. Единственное здание, окна которого были наглухо закрыты, была монастырская школа для девочек, и в тот же вечер прошел слух, что ученицам было запрещено принимать участие во встрече, но тем, кто ему об этом рассказывал, генерал посоветовал не верить сплетням про монастыри.

Накануне вечером Хосе Паласиос отдал в стирку рубашку, в которой генерал потел, трясясь от лихорадки. Ординарец отнес ее солдатам, что на рассвете стирали в реке белье, однако, когда настало время уезжать, никто и понятия не имел, где она. Пока они добирались до Гуа-

дуаса и пока шло празднество, Хосе Паласиос настоял на том, чтобы хозяин постоялого двора принес рубашку нестираной, дабы индейский целитель мог продемонстрировать свое могущество. Так что, когда генерал вернулся домой, Хосе Паласиос, вводя его в курс дела, списал все на нерасторопность хозяина и уведомил, что у генерала нет ни одной рубашки, кроме той, что на нем. Он принял это с философской покорностью.

– Суеверия сильнее любви, – сказал он.

– Чудно, но со вчерашнего вечера лихорадка вас больше не трепала, – сказал Хосе Паласиос. – Что, если врачеватель и вправду оказался волшебником?

Он не ответил, погруженный в глубокое раздумье, раскачиваясь в гамаке в такт своим мыслям.

– В самом деле, голова больше не болит, – наконец сказал он. – Нет горечи во рту, и исчезло ощущение, что я падаю с башни.

Потом хлопнул себя по колену и решительно выпрямился.

– И не морочь мне больше голову, – отрезал он.

Двое слуг внесли в спальню огромный чан с горячей водой, в которой плавали ароматические травы, и Хосе Паласиос приготовил ему вечернюю ванну, сказав, что сам он скоро пойдет спать, так как очень устал за день. Однако пока генерал диктовал письмо Габриэлю Камачо, супругу своей племянницы Валентины Паласиос и своему поверенному по продаже медных рудников в Ароа, унаследованных им от предков, вода в ванне остыла. Сам он, видимо, имел не очень ясное представление о своей судьбе, потому что в одном месте продиктовал, что направляется в Кюрасао, пока благополучно не завершатся дела Камачо, а в другом месте просил писать ему в Лондон, на адрес сэра Роберта Вильсона, с копией сеньору Максвелу Хислопу на Ямайку, дабы быть уверенным, что хоть одно из писем его найдет, если потеряется другое.

Для многих, и особенно для секретарей и адъютантов, шахты в Ароа были чем-то вроде лихорадочного бреда. Они так мало интересовали его, что на протяжении многих лет их разрабатывали случайные люди. Он вспомнил о них на склоне лет, когда деньги стали таять, но не смог продать их английской горнорудной компании, потому что не имел никакого понятия о том, что же представляют собой его рудники. Таково было начало легендарного и запутанного юридического процесса, который продолжался еще два года после его смерти. Во времена всех сражений, политических интриг и личных распри все понимали, о чем идет речь, когда генерал говорил «моя тяжба». Для него не существовало другой, кроме его дела о рудниках в Ароа. Письмо, которое он продиктовал в Гуадуас дону Габриэлю Камачо, оставило у племянника Фернандо ошибочное впечатление, что они не едут в Европу, потому что спор еще не решился, и Фернандо сказал об этом, когда играл в карты с другими офицерами.

– Так мы никогда не уедем, – произнес полковник Вильсон. – Мой отец уже давно спрашивал, существуют эти медные рудники на самом деле или нет.

– Их никто не видел – как можно сказать, что они существуют? – заметил капитан Андреа Ибарра.

– Существуют, – сказал генерал Карреньо. – В департаменте Венесуэла.

Вильсон недовольно ответил:

– Здесь и сейчас я сомневаюсь даже, существует ли Венесуэла.

Он не скрывал своей досады. Вильсону стало казаться, что генерал не любит его и держит у себя в свите только из-за его отца, которому всегда был благодарен за то, что тот поддерживал эмансипацию Америки в английском парламенте. Один из старых адъютантов, злобный француз, слышал, как генерал сказал: «Вильсону нужно бы пройти школу трудностей, или даже бед и нищеты». Доказательств, что генерал на самом деле так сказал, у полковника Вильсона не было, но он считал, что в любом случае с него хватило участия в одном сражении, чтобы почувствовать себя прошедшим все эти три школы. Ему было двадцать шесть лет, и уже прошло восемь, как отец послал его в распоряжение генерала, после того как он закончил обучение

в Вестминстере и Сэндхёрсте. Он был адъютантом генерала в боях при Хунине, и именно он, верхом на муле, доставил из Чукисаки проект конституции Боливии, пробираясь по горному карнизу длиной в триста шестьдесят лиг. Отправляя его, генерал сказал, что он должен быть в Ла-Пасе не позднее чем через двадцать один день. Вильсон вытянулся по стойке смирно: «Я буду там через двадцать, ваше превосходительство». Добрался же он за девятнадцать.

Он решил вернуться в Европу вместе с генералом, но с каждым днем в нем росла уверенность, что генерал то и дело, под разными предлогами, откладывает путешествие. Вот сейчас начались разговоры о шахтах Ароа, которые не могли служить настоящим предлогом уже более двух лет, и это было для Вильсона неутешительным признаком.

Хосе Паласиос снова нагрел воду после того, как было продиктовано письмо, но генерал не стал принимать ванну, а беспрестанно шагал из угла в угол, декламируя длинную поэму, написанную для детей, так громко, что было слышно на весь дом. Он все еще писал стихи, о которых знал только Хосе Паласиос. Кружа по дому, он несколько раз проходил по галерее, где офицеры играли в ропилью – креольское название галисийской карточной игры «кватрильо», – в которую и он когда-то любил играть. Он на минуту задержался посмотреть на игру и, заглядывая поочередно через плечо каждого из игроков, высказал свои замечания по поводу партии, а потом зашагал дальше.

– Понять не могу, как можно терять время за такой нудной игрой, – сказал он.

Однако когда он опять оказался на галерее, то не смог устоять перед искушением и попросил капитана Ибарру уступить ему место за столом. Ему не хватало терпения, которое необходимо хорошему игроку, он был агрессивен и не умел проигрывать, но он был хитер и стремителен и умел быть на высоте, находясь среди подчиненных. В тот раз, с генералом Карреньо в качестве партнера, он сыграл шесть партий и все проиграл. И бросил карты на стол.

– Дерьмовая игра, – сказал он. – Посмотрим, кто осмелится сыграть в ломбер.

Сыграли. Он выиграл три партии подряд, настроение у него поднялось, и он стал подшучивать над полковником Вильсоном и над тем, как тот играет в ломбер. Вильсон принял это с легким сердцем и, воспользовавшись добрым расположением духа генерала как преимуществом, не проиграл. Генерал сделался напряженным, поджал бледные губы, в глазах, спрятанных под косматыми бровями, появился диковатый блеск прежних времен. Он не проронил ни слова, и только мучительный кашель мешал ему сосредоточиться. После полуночи он прервал игру.

– Весь вечер я на сквозняке, – сказал он.

Стол перенесли в более укрытое место, но он продолжал проигрывать. Он попросил, чтобы смолкли флейты, которые слышались неподалеку на каком-то празднике, но флейты все равно постоянно были слышны и перекрывали стрекотанье сверчков. Он несколько раз пересаживался, положил на сиденье подушку, чтобы стало повыше и поудобнее, выпил липового чаю, который помогал ему от кашля, сыграл несколько партий, вышагивая по галерее из конца в конец, но все равно продолжал проигрывать. Вильсон не сводил с него ясных, полных ненависти глаз, но он не удостоил его ответным взглядом.

– Это крапленая карта, – вдруг сказал он.

– Это ваша карта, генерал, – сказал Вильсон.

Это действительно была его карта, но он осмотрел ее со всех сторон, потом остальные, карту за картой, и наконец заменил ее. Вильсон не дал ему передышки. Сверчки замолчали, установилась долгая тишина, прерываемая только порывами влажного ветра, который приносил на галерею первые ароматы знойных долин, да какой-то петух прокукарекал три раза. «Это сумасшедший петух, – сказал Ибарра. – Сейчас не больше двух ночи». Не поднимая глаз от карт, генерал жестко повелел:

– Никто не уйдет отсюда, черт бы всех побрал!

Возражений не было. Генерал Карреньо, который следил за игрой скорее с тревогой, чем с интересом, вспомнил о самой длинной в своей жизни ночи, за два года до этого, когда в Букарманге они ждали результатов Учредительного собрания в Оканье. Они начали играть в девять вечера и закончили в одиннадцать утра на следующий день, когда его партнеры подыграли ему и он выиграл три раза подряд. Опасаясь подобного испытания сил этой ночью в Гуадуасе, генерал Карреньо сделал знак полковнику Вильсону, чтобы тот начал проигрывать. Вильсон не обратил на него внимания. Немного позже, когда Вильсон попросил перерыв на пять минут, Карреньо пошел за ним в глубину террасы и нашел его изливающим свои аммиачные накопления на горшки с геранью.

– Полковник Вильсон, – приказал ему генерал Карреньо. – Остановитесь!

Вильсон ответил, не поворачивая головы:

– Дайте закончить.

Он спокойно закончил свое дело и повернулся, застегивая ширинку.

– Начинайте проигрывать, – сказал ему Карреньо. – Хотя бы для того, чтобы поддержать товарища в беде.

– Я сражаюсь за то, чтобы никому не наносили подобной обиды, – сказал Вильсон с некоторой иронией.

– Это приказ, – сказал Карреньо.

Вильсон, встав по стойке смирно, посмотрел на него с высоты своего роста с величественным презрением. Потом вернулся к столу и начал проигрывать. Генерал понял.

– В вашем поступке нет необходимости, дорогой мой Вильсон, – сказал он. – В конце концов будет справедливо, если мы все отправимся спать.

Он крепко пожал всем руки, как делал всегда, вставая из-за стола, чтобы показать: игра никак не влияет на дружеские отношения – и ушел в спальню. Хосе Паласиос спал на полу, но поднялся, увидев, что он входит в комнату. Генерал быстро разделся и, обнаженный, стал раскачиваться в гамаке, неотвязно думая о чем-то, и его дыхание становилось все более шумным и хриплым по мере того, как он размышлял. Потом он лег в ванну, и его била дрожь, но не от холода, а от гнева.

– Вильсон – мошенник, – сказал он.

Он провел одну из худших своих ночей. Вопреки его приказаниям Хосе Паласиос предупредил офицеров, что, возможно, понадобится врач, и завернул его в простыни, чтобы он пропотел. Простыни намокали одна за другой за короткие промежутки времени, которые заканчивались приступом лихорадочного бреда. Он несколько раз прокричал: «На кой черт разыгрались эти флейты!» Но на этот раз ему никто не мог помочь, поскольку флейты умолкли еще в полночь. Несколько позже он нашел виновника своего плохого самочувствия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.